
СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ
ПОЛТАВСКАЯ БИТВА
1709
ТОМ 3

Сергей Князев

Полтавская битва 1709 - Том 3

https://litres.ru/74730749
SelfPub; 2026

Аннотация

Я погиб, вытаскивая своего бойца из-под огня, и очнулся под Полтавой. 1709 год. Теперь я капрал Андрей Рябов, которого собственные солдаты считают трусом. Впереди шведская пехота, в руках непривычная фузея, за плечами опыт современной войны. Я заставлю этот опыт работать: удержу строй, сберегу людей и поведу их вперёд. От недостроенного редута до решающей атаки вместе с царём Петром Первым. Нам предстоит разгромить шведов и вырвать победу, которая изменит судьбу России.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	23
Глава 3	42
Глава 4	58
Глава 5	77
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Сергей Князев
Полтавская битва 1709 - Том 3

Глава 1

Федька, шедший замыкающим с рогатиной, среагировал ещё до окрика: он бросил рогатину наземь (в кустах она — якорь), сам ушёл в лозняк наискось, срезая угол, — детская наука догонять зайца по дуге. Через двадцать шагов из-за лозняка — возня, сдавленный ох — и Федька вывел сидельца за ворот, оба в репьях, сиделец запыхался, пацан дышал ровно.

— Срезал по дуге, — объяснял Федька, как взрослому. — Он в кусты думал, а кусты клином. Я за клин и ждал.

Я не стал благодарить громко — положил левую ладонь парню на плечо и держал два удара сердца. Наряд видел. Сиделец сел на обочину, потёр запястья, и я сел рядом с ним, локоть в локоть, как на завалинке.

— Бежать тебе некуда. Связать я тебя свяжу, но держит другое: ты уже два дня как мёртв для тех, кто тебя нанял. Нас у хутора видели. Убежишь к своим — и что ты им скажешь? Что язык твой взят, что маяк твой висит, что кушак твой у меня?

Сиделец молчал. Тогда я достал из-за пазухи кушак с синей круткой — и просто держал его на коленях, между собой и сидельцем.

— Мне про лист твой говорили. Заказной, — сказал я. — Я тебе так отвечу: я в вашей бумаге не ищу виноватого. Я в ней ищу руку. Кто писал, кто платил, кто носил. Ты — носил. Носильщика не вешают. Носильщика спрашивают.

Сиделец смотрел на кушак, потом на лагерные дымы, потом — под ноги. И сказал, глядя под ноги:

— Мука тут ни при чём: наняли меня за человека, найти да показать. А я… показывать передумал.

— Кого показать?

Сиделец поднял глаза — на меня, долгим взглядом — и молчал. Но молчание его теперь было другого рода: судя по глазам, это был страх человека, который уже понял, что заказ

его не умер вместе с его свободой. Я записал это молчание в журнал как есть — зарубку на поле и слово «отказ» рядом.

— Ладно, — сказал я, поднимаясь. — В лагере договорим. Там у меня сержант есть, он страшнее меня. Он бумагам верит.

Федька подобрал рогатину и вёл сидельца уже за рукав. Верёвка болталась на поясе пацана узлом: знак, что перехват кончился, начался конвой по-человечески.

Последний привал — у въездного столба, где тракт разгибается к лагерным воротам. Левонтий, приходивший в себя на соломе, попросил воды, потом — попросил сесть. Его посадили спиной к дрогам, лицом к наряду, и он сказал — тихо, но так, что умолкал даже Кузьма в оглоблях:

— Я капрала вашего два дня рядом с собой везу. Кровь моя — его перевязь, вода моя — его фляга. Он меня вёз как родного. А я ему… — Левонтий запнулся; все помнили, что именно он сказал про нож у подпола. — А я ему такое говорил, что брат родной не простил бы. Он — вёз. Вот и весь сказ.

И отвернулся к борту. Наряд молчал. Я и здесь не стал благодарить — только поправил солому под раненым, на гла-

зах у всех, левой рукой, тщательно. Слово было сказано, поправка — ответ на него.

Кузьма сплюнул и сказал в оглобли, ни к кому:

— Вот теперь нас ничем не возьмут. У нас теперь своя бумага есть. Живая.

От ворот навстречу обозу выехал писарь Гнедин — на казённой лошадёнке, с чернильницей у пояса, с развернутым листом. Он встретил обоз за сотню шагов до ворот — я смекнул зачем: ему нужен был мой рассказ первым, пока наряд не разошёлся по шатрам и офицеры не начнут слушать пересказы один другого.

— Капрал! — Гнедин осадил лошадёнку поперёк тракта, радостно, громко, на всю окрестность ворот. — Славу твою записываю! Значится: наряд Рябова принял бой с шведским полком, полк разбил, отбил обоз, взял языков два и знамя… знамя было? Знамя запишем со слов рядовых, рядовые подтвердят. Ну-ка, кто видел знамя?

Наряд стоял. Федька открыл рот — я опередил его одним движением: левая ладонь вверх, жест «стоп», отработанный на учениях. Парень закрыл рот.

— Пиши, что видел, писарь, — сказал я ровно. — Полка я не видел. Я видел передовую пару вольной ватаги. Двое мёртвых, двое живых языков, сиделец, Нильс и раненый свой — Левонтий. И муки ни одного мешка — муку они до нас увезли.

— Так ведь... — Гнедин мялся, чернильница висела, перо в воздухе. — Офицеры уже поздравились. По раненому Левонтию первая сводка ушла: «порублено до роты». Роту разбили — чего ж мелочиться…

— Роту порубило твоё перо, — сказал я. — А землю топтали шестеро. Разница такая: за роту дадут крест, за шестерых — наряд. А вот коли по твоей «разбитой роте» вышлют фуражиров догонять недобитки — фуражиры лягут. Ты это в свою бумагу впишешь?

Гнедин смотрел на меня, на кушак, на мёртвых под соломой — и его перо впервые опустилось. Но лист он не свернул: он уезжал к воротам вперёд обоза, спиной вперёд, оглядываясь, — и я понимал: сейчас эта бумага, недописанная, войдёт в лагерь вперёд меня. Победа живёт своей жизнью, и догнать её можно только у стола Клокова.

Я молча подвёл дроги к воротам. У самых ворот остановился на один удар сердца: левая рука сама легла на кушак

за пазухой — я нащупал ткань, тёплую от тела, и держался за неё, пока не прошла дрожь в пальцах. Кузьма видел этот жест и сказал тихо, из оглобель, только для своих:

— Внутри, командир, тише держи. Там бумага громче нас. Эту бумагу прочтут те, кого мы и в глаза не видели. А нас прочтут по ней.

Ворота. Дозор Мокея расступился; Оська с бровки махал всей жизнью. Наряд вёл обоз через лагерь на глазах у всей роты: два живых языка, сиделец, которого Федька держал за рукав, Нильс — на отдельной верёвке у Устина, два мёртвых под соломой, раненый свой Левонтий, Кузьма в оглоблях — и капрал с мёртвой правой рукой и кушаком за пазухой. Двое выглянули из шатра, у котла обернулся повар с половником, у шатра появился кто-то босиком. Рота расступалась молча: по лагерю уже бежало гнединское «до роты порублено», и живая картина обоза спорила с бумагой без единого слова.

У шатра Клоков вышел сам — значит, сводка дошла и до него. Он оглядел обоз сверху вниз, одним взглядом: своих — живых всех, чужих — два языка, сиделец и Нильс, два мёртвых, улика — при капрале.

— До полудня успел, — сказал Клоков. — К вечеру — с докладом. И принесёшь свою нитку. Только смотрю я на

тебя, капрал, и думаю: чего ты мне скажешь такого, чего мне через час не расскажет вся рота в десяти разных видах?

— Скажу одно, чего не расскажет никто, — ответил я. — Что их было шестеро. И что рота — в твоём лагере уже есть.

Клоков держал паузу. Наряд разводил пленников по шатрам — Федька вёл сидельца сам, за рукав, как вёл; Левонтия брали носильщики лазарета, он поймал мой взгляд и коротко кивнул мне поверх чужих плеч. Я остался у дрог с кушаком в левой руке и смотрел вслед Гнедину, который уже сидел у стола и строчил — быстрее, чем шёл обоз.

Вечер в шатре Клокова пах мокрой солью, воском и свежей чернильной гарью. Это был рабочий угол: стол с ящиком, стопка бумаг, огарок свечи, за которым виднелась пустая стена холщового полога. Денщик при виде меня протянул табурет, но сержант остановил его жестом ладони. Не поднимая глаз от стола, он сказал ровно:

— Стой, как стоял. Бумагу свою показал? Не буду я твою бумагу читать.

Я замер по стойке смирно. Сесть мне было нельзя — правая рука, намертво прибинтованная ремнём к рёбрам, превращала любое движение корпуса в пытку, а просить стула

означало показать слабость, которой здесь быть не должно. Я держался на ногах, чувствуя, как холодок пота ползёт по спине под кафтанами.

— У меня и нет бумаги, господин сержант.

— Знаю. Гнедин уже написал за тебя. — Клоков двумя пальцами подвинул лежавший сверху гнединский черновик к самому краю стола, лицом вниз. Жест был будничным, как будто он сдвигал лишнюю тарелку. — Полк разбит, знамя взято, языков два и сиделец. Так говорит лагерь. Теперь расскажешь глазами. С того места, где свистнул твой Кузьма. И ставь стоп на каждом своём «неведомо». Я их считать буду.

Я начал говорить. Голос звучал сухо, хрипло после двух суток крика и шепота, но слова складывались в ту чужую дисциплину, которую я сам же вчера выстроил у печи. Только рот пересох, и на первом же «неведомо» я запнулся и сглотнул. Хутор. Свист. Расстановка людей по голосу. Зола, расправленная как доска. Чугун, нагревающийся в углях. Первый заход приманки, вспышка над плетнем.

Клоков слушал молча, пока не дошло до стрельбы. Тогда он перебил, спросив о ремесле:

— Сколько было вспышек из-за плетня?

— Три. Первая выше человеческого роста, била по чердаку. Две ниже, по амбразуре сарая. Кузьма лёг после второй. Я велел ему стрелять после третьей.

— Почему после третьей?

— Первая вспышка — это прощуп. Она бьёт туда, где ждут ответного огня. Если бы мы ответили сразу, открыли бы свои позиции на чердаке. Нужно было дать им поверить, что они нас достали, прежде чем бить самим.

Клоков коротко кивнул. Палец его дёрнулся над листом, но писать он не стал. Просто разрешил продолжать движением руки. Следующий вопрос пришёл на середине рассказа, когда я дошёл до следа на золе:

— Чей след вёл к чёрному окну? До боя или после?

— До. Шаг короткий, носок внутрь. Человек шёл боком вдоль стены, привычно. Знал местность.

— Почему дверь цела? Лавруха говорил, что ломился кто-то тяжёлый.

— Потому что её закрыл Яшка. По моему окрику. За пол-

удара до чужого рывка. Рука моя не успела бы. Голос успел.

Сержант поднялся из-за стола. Обошёл его, глядя на мою перевязь, потом на меня; я, верно, был сер от усталости и пыли. В шатре повисла тишина, нарушаемая только треском фитиля в свече.

— Перевязь мешает отдать честь уставно, — заметил Клоков без тени иронии.

— Мешает, — согласился я.

Я не попытался сделать вид, что всё в порядке. Вместо этого просто склонил голову — ровный, мужской наклон головы и корпуса, как делают люди, которые уважают собеседника, но помнят, кто они сами.

Клоков смотрел на этот жест секунду. Потом сам ответил тем же наклоном. Зеркально. Ровно.

Денщик у порога замер с миской в руках. Сержант ответил на поклон капралу — без слов, на равных. Этот жест, маленький и бесшумный, весил больше любой грамоты. Я почувствовал, как внутри что-то тихо щёлкнуло — замок, который наконец сел в паз. И заметил, что сжал зубы, — разжал их.

— Продолжай, — сказал Клоков, возвращаясь к столу.

Вторая часть рассказа была про ночь, костёр за межой и кушаки. Я выложил на стол трофейный пояс мёртвого разведчика. Развернул ткань левой рукой, медленно, показывая крутку в свете огарка. Рядом положил раскрытый журнал, где угольным карандашом была набросана схема синей нити.

— Господин сержант. У вас в ящике лежит синяя нить. Её сдал Мокей. Возьмите её сейчас.

Клоков посмотрел поверх стола. Его глаза сузились. Он позвал денщика:

— Нить из ящика. Ту, что десятник сдавал утром. Принеси сюда.

Берестяной свёрток лёг на доски. Сержант развернул его сам. Два предмета оказались рядом в желтоватом свете свечи: ладонь длиной оборванная полоска ткани и широкий вязаный пояс. Клоков взял нить одной рукой, кушак другой. Он приложил нить к узору пояса. Крутка совпала виток в виток. Плотность одинаковая. Краска та же. Он отложил нить. Положил снова. В третий раз он уже не проверял — просто сжал оба конца в кулаке и держал так: костяшки побелели,

большой палец тёр край полоски, будто ещё надеялся, что она расползётся.

— Один человек вязал, — произнёс Клоков тихо. — Или одна рукодельня.

— Проверим, — сказал я. Я кивнул на выход из шатра. — Первый язык в третьем шатре. У него знак не снаружи. Под зипуном. На рубахе, на поясе.

Сержант выпрямился. Его лицо стало непроницаемым, рабочим.

— Денщик. Приведи первого языка. Сюда. Зипун снять при мне.

Пленный вошёл через минуту. Он шагал тяжело, опираясь на подрезанную ногу, но спину держал прямо, как держат те, кому нечего терять, кроме гордости. Лицо его было бледным, глаза затуманены болью, но он видел всё. Когда он увидел два синих предмета на столе Клокова, тело его вздрогнуло один раз. Остановилось.

Зипун сняли быстро, грубо. Под ним оказалась грязная, затасканная рубаха, а на поясе вплетена широкая полоса ткани. Двойная крутка — та же. Грубая, торопливая работа уз-

лами, метка для своих, чтобы свой узнал издалека.

Первый язык стоял перед столом. Он смотрел на три синие линии в одном свете: нить, кушак и свой собственный пояс. Молчание длилось долго. Затем пленный перевёл взгляд на меня. Я знал, на кого он смотрит: на командира, который на хуторе велел его поить, на человека, который вёз его раненого товарища на соломе.

— Одна рука? — спросил Клоков, без нажима.

Пауза. Тяжёлая, давящая. Я читал его лицо, как читают след: скажет правду — подпишет себя в сети, но и молчание, догадывался я, его не спасёт. Свои его бросили; его поил Федька по моему приказу; улики лежали перед Клоковым на столе. Молчи он — сеть и так считала его потерянным. И страха перед нами в этой паузе было меньше, чем страха перед своими.

Губы пленного дрожали. Он их прикусил, и слово вышло чисто, по-русски, но с каменистым дном чужого наречия:

— Вязала одна рука. Всем нам.

И замолчал. Больше он не произнёс ни звука. Но сказано было главное. Сеть названа изнутри. Факт есть.

Клоков накрыл ладонью вещи на столе. Жест хозяина, берущего находку под крыло.

— Второго языка из лазарета, — приказал он денщику. — Несите сюда. Ноги ему не нужны. Язык нужен.

Через десять минут кошму принесли. Второй язык дышал поверхностно, часто. Горячка жгла его изнутри. Лазаретные поставили носилки у стола и отошли. Клоков наклонился над чужаком, денщик поднёс ближе огарок — свеча потрескивала, воск капал Клокову на рукав, но он не отстранился.

Я опустился на колено. Мне нужно было быть ниже лица пленного, чтобы тот видел знакомые черты первым. Тот узнал меня мгновенно, сквозь туман бреда. Глаза его прояснились на долю секунды.

Чужак дёрнулся, тянул к себе ворот моего кафтана мёртвыми пальцами. Шептал обрывки фраз, смесь русского и шведского. Бред про муку, про обозы, про какую-то дорогу. Клоков слушал, морщась.

И вдруг бред собрался в две четкие мысли. Чистые слова прорезали горячечный туман:

— Хлеб… на запад…

И тут же сознание покинуло пленного. Голова упала назад, стукнулась обо что-то мягкое. Пальцы разжались. В шатре не дышал никто — я машинально считал про себя секунды и досчитал до восьми. Конец.

Лазаретные подхватили кошму и унесли прочь.

Я остался стоять на колене и посмотрел на стол Клокова. Там лежал гнединский черновик. Победа, написанная ложными буквами.

Я поднялся, подошёл к столу и коснулся листа левой рукой. Не двигая, просто обозначил границу между своим докладом и этой макулатурой.

— Вот ответ на ваш сегодняшний вопрос, господин сержант, — сказал я. — Что не расскажет рота в десяти видах. Рота скажет про победный полк. А эти двое сказали про сеть. Про одну руку, которая вяжет всех. И про хлеб, идущий на запад. Через наши же земли. Реляция Гнедина это пишет?

Полог шатра дрогнул. Гнедин вошёл незаметно, услышав последнюю фразу. Он стоял бледный, чернильница в его руке мелко звякала о край подставки. Спорить он не смел, но

страх, видимо, заставил открыть рот.

— Господин сержант, — писарь заикался. — Бред смертника. Горячка. В протокол такое не пишут. В штабе смеяться будут над русским капралом, который верит умирающему шведу…

Клоков не поднимал головы. Он взял своё перо, макнул в чернила и начал писать медленно, разборчиво. Каждую букву он проговаривал вслух, чтобы слышали все присутствующие.

— Вя-за-ла од-на ру-ка.

Ниже:

— Хлеб на за-пад.

Он закончил запись. Отложил перо. Посмотрел на Гнедина.

— Пишут. В мой.

И вторым движением придавил собственную запись ладонью, защищая её от ветра и сомнений. Потом он сгрёб гнединский черновик и протянул его писарю. Тот схватил бума-

гу обеими руками, прижал лист к груди. На большом пальце у него виднелся чернильный след.

— Пусть полежит до утра, — добавил Клоков. — При офицерах посмотрим, чья бумага тут чего стоит.

Гнедин кланялся спиной вперёд, пятился из шатра, исчезая во мраке ночи.

Клоков оставался сидеть. Я стоял у стола. Между нами тишина, полная ожиданий и опасностей.

— Запомни, капрал, — говорил сержант, убирая протокол в ящик. — С Гнединым до утреннего разбора ни слова. Ни одного. Даже если он сам тебе в ноги упадёт. Ты правду принёс без посредников. Я хочу проверить, удержишь ли ты её в одиночку, когда начнут давить.

Я кивнул.

Ночь лагеря встретила меня холодом и запахом дыма от дальних кухонь. Нарядный круг собрался у небольшого костра в стороне от штабных палаток. Люди ели молча. Один боец дул на ложку, поднося её ко рту.

Яшка сидел на перевёрнутом чурбаке. Перед ним на ко-

ленях лежал трофейный топор. Камень ходил по лезвию ровным, мерным звуком. Парень точил железо третий час. Федька спал сидя, привалившись спиной к колесу дрог, сжимая в кулаке хлеб. Кузьма грел похлёбку в котелке, помешивая деревянной ложкой.

Я сел последним. В левой руке держал ломоть чёрствого хлеба. Горбушка плотная, корка крепкая. Раньше я резал такой хлеб играючи, двумя движениями правой руки. Сейчас правая рука была прибита к рёбрам ремнём. Она мертва.

Я положил хлеб на колено. Вынул нож «А. Р.» из ножен. Медленно. Чтобы каждый видел, как я это делаю. Лезвие ловило отсвет огня.

Левой рукой я начал резать. Не давил всем корпусом, не пытался пилить. Резал точно: ломоть был прижат к колену краем левого предплечья, нож сидел в кисти той же руки, и работала только кисть — лезвие тянул к себе. Первый надрез вышел кривым. Ломоть крошился.

Второй шёл лучше. Третий отделился куском ровным, как страница книги.

Кузьма перестал мешать суп. Смотрел на мои руки. Яшка остановил камень на полудуге. Тишина стала слышной даже

в шуме ночного ветра.

Я доел свой ломоть до последней крошки. Собрал остатки ладонью левой руки, поднёс ко рту. Смотрел на Яшку.

— Точи дальше, — сказал я спокойно. — Только запомни этот звук. Как я режу. Медленнее значит ровнее. В бою будет так же. Кто спешит — тот промахивается. Кто медлит верно — тот побеждает.

Яшка кивнул. Взял камень. Звук вернулся — ровный, глухой скрежет по железу; дрожь страха он уже не глушал. Я поймал себя на том, что дышу в этот скрежет: вдох — на дуге, выдох — на обратном ходе.

Из темноты между шатрами слышался голос Клокова. Негромкий, адресованный только мне:

— На рассвете при офицерах. Принесёшь свой кушак.

Я спрятал нож в ножны одним движением левой руки — так же ровно, как резал хлеб. Плечо дёрнулось подать правую на помощь, но правая не работала, и я её не поднимал. Без поправок. Без лишней нервозности. А скрежет Яшкиного камня всё не смолкал.

Глава 2

Смех внутри шатра был сытым, жирным от уверенности в своей правоте. Через холщовый полог я слышал, как Гнедин нараспев дочитывает последнюю строчку: «…истреблённых до единого, бегством спасшихся не более десяти душ». Кто-то из офицеров стукнул кружкой по столешнице. Жест одобрения привычный и весёлый, будто дело уже закрыто, награды розданы, а враг разбит окончательно. Дневальный у входа заглянул внутрь, хрипло объявил:

— Капрал Рябов — по вызову его благородия.

Смех съехал на нет, когда я вошёл. Он осел медленно, как пыль в луче света. Я стоял на пороге и читал шатёр глазами человека, который привык читать местность по золе и следу. В лицо дунуло теплом: сальная свеча, мокрая шерсть, запах чернил. За столом Клоков. Справа от него адъютант из штаба бригады, молодой, с чистым пером наготове, пальцы в чернилах до второй фаланги. По скамьям шестеро офицеров. Свербеев сидел развалившись, нога на ногу, улыбка на пол-лица — та, с которой он сказал мне вчера: «Тракты — не бумага». От неё у меня вчера и свело скулу: бить его нельзя, я тогда же и решил, а сомнение всё жило. Гнедин прижал к

груди лист, перо зажато в кулаке. У столешницы лежала знакомая береста Мокея с синей нитью, нетронутая, поверх неё кто-то положил локоть.

Я понял сразу. Меня вызвали подтвердить. Реляция уже написана, прочитана вслух, победная слава выпита до дна. Я последний недостающий росчерк под чужой триумф.

Клоков кивнул на место у стола.

— Подходи, капрал. Вот… — он шевельнул пальцами в сторону писаря, — писарь Гнедин изложил вчерашнее дело. Ты у нас там был главным человеком — подтверди при господах офицерах, как оно вышло.

Он помолчал, взял со стола трубку, не закурил.

Гнедин протянул лист через стол. Я взял его левой рукой. Правая была обожжена ещё до выхода на хутор, зафиксирована ремнём к рёбрам, мёртвая тяжесть в рукаве. Весь шатёр видел, как я разворачиваю бумагу одной рукой, прижимая край к дереву столешницы. Читал молча. Дольше нужного, нарочно, чтобы каждая секунда тишины давила на плечи, заставляя каждого считать вместе со мной.

Гнедин глядел на мои губы, Клоков постукивал чубуком

о стол.

В бумаге значилось: «шведский полк в числе до трёхсот», «истреблён», «командовал капрал Рябов с отменной храбростью», «отбитый обоз с мукою в полном составе», «пущено в дело до двухсот выстрелов».

Я помнил каждый удар сердца того боя. Чужаков на хуторе было пятеро, и сверх них связной, взятый в бурьяне, — итого шестеро. Выстрелов русских было немного, но не все холостые: один боевой — Кузьмин, он ранил стрелка за плетнём. Муку мы не отбили: подводы чужаки увезли с собой. С тропы привезли двоих мёртвых чужих, а раненый второй язык умер уже после доставки, в шатре Клокова. Своих мёртвых ноль. И главное слово, которого в этой красивой реляции не было вообще: хутор. Ни слова про то, что враг на хуторе — вольная ватага, совсем иного разбора, чем регулярная армия. Ни слова про синюю крутку.

— Читай, не стесняйся, — бросил Свербеев с лавки. В голосе — удовольствие человека, уверенного, что капрал сейчас либо сморозит глупость, либо пропоёт чужую песню.

Я положил лист плашмя, левой ладонью, посредине стола.

— Никак не могу подтвердить, ваше благородие. Ни стро-

ки.

Ожидание шатра сломалось со скрипом. Адъютант поднял перо, Гнедин открыл рот, замерев с полуулыбкой. Клоков не пошевелился, только смотрел. Он один здесь уже знал, как звучит мой доклад.

— То есть как — ни строки? — Адъютант молод, в его голосе растерянность чиновника, у которого из-под пера пропала готовая бумага. — Ты там был?

— Был. Весь наряд там был, господа. А полка там не было.

Я отдал честь наклоном головы. Глубже уставного, ровно настолько, чтобы жест нельзя было счесть небрежностью или хамством. Правая рука в перевязи висела плетью, физически невозможно поднять её к козырьку. Клоков, прежде чем ответить, коротко, еле заметно кивнул мне в ответ. То, что сержант ответил капралу приветствием равного по вежеству, увидели все разом. Гнедин опустил глаза в свой лист, Свербеев глядел в стол.

— Тогда сказывай сам, — Клоков отодвинул реляцию Гнедина на край стола локтем, как лишнюю посуду. — Как учёный. Только помни уговор: рассказываешь, что видел глазами. Что слыхал — говоришь отдельно и чьё.

И я начал. Это нужно было выстроить кирпич за кирпичом, невозмутимым каторжным счётом.

— Наряд вышел на хутор по следу двух подвод на рассвете. На хуторе нашли печь целую, сарай с уцелевшей западной стеной и подпол. В подполе раненый, Левонтий Сухой, обозный третьей роты, пулей в бедро, вторые сутки без воды. Его я видел сам. Что десяток его разбежался — от него слыхал, сам не видел, так и сказываю: с его слов.

Я говорил, не торопясь. Каждый раз, доходя до края виденного, упирался в свой предел, как в стену: «Дальше — неведомо».

— Дальше чужаки пошли — неведомо. Стрелка за плетнём видел сам — и троих, что его уносили, видел сам; пятый был взят у чёрного окна. Сколько таких рук во всей сети — неведомо. Народ ли шведский, казаки ли, иные ли — неведомо: ни мундира, ни полкового знака на них не было. Бились у сарая. Первого взял у чёрного окна живым — сам, левой рукой, о чём имею сказать отдельно: правая у меня не работает, перевязь при мне, господа могут убедиться.

Я поднял перевязь на уровне груди. Коротко, без жалобы, как предъявляют вещдок. И продолжил:

— Второго взяли на тропе за межой — раненого, на носилках; с носилок его перенесли к костру, напоили и довезли до лагеря, а единственный уцелевший его носильщик бежал. Взял я, при мне Кузьма и Яшка Сорокин. Один чужак ушёл в темноту — туда. Я показал рукой на запад. Кто он, каков приметой — неведомо. Мука: увезена чужаками при отходе. Куда — неведомо.

На четвёртом «неведомо» молодой офицер у стены не выдержал и фыркнул. На шестом уже трое переглянулись с усмешкой. Свербеев наклонился к соседу и сказал вполголоса, но так, чтобы слышал весь шатёр:

— Победа, а он — неведомо да неведомо. Прямо рапорт какой-то — чистые бабьи рыдания.

Смех. Короткий, в три горла. Зал требовал победного лоска. Реляция настроила всех на триумф, а моё молчание портило праздник.

Я ждал, пока кончится. Я умею ждать. Когда смех стих, я заговорил тихо, на солдатском вполовину сжатом говоре, и от этой тихости смеявшимся стало неловче, чем от крика:

— Смейтесь, господа. Только я вам вот что скажу. Где я

молчу — там пусто, там человек дойдёт. А где в вашей бумажке написано то, чего я не видел, — туда пошлют дурака. И дурак тот не вернётся. Вы хотите, чтобы обоз завтра шёл по мёртвым людям? Скажите сейчас — я хотя бы запомню, кто велел.

Молодой офицер, фыркнувший первым, отвернулся к стене. Больше в шатре никто не усмехнулся.

Я достал из-за пазухи кушак. Вытянул левой рукой, одним движением разворачивая свёрток, — той же неуклюжей однорукой работой, что и при предъявлении перевязи. Разложил на столе рядом с реляцией Гнедина. Потом кивнул на бересту Мокея:

— Вот нить. Найдена в оброненной соломе под межой, до боя. Вот кушак — снят с чужака на тропе за межой. Вот, у господина сержанта, знак с исподнего первого языка. Одна рука вязала, и не в полку.

Молодой адъютант потянулся к кушаку посмотреть крутку. Я не отдал: мягко придавил его ладонью и обратился к Гнедину прямо:

— А теперь спросим писаря, господа: где в реляции крутка? Где в реляции слово, что враг на этой земле — вольная

рука со знаком, и никаких тут полков и казаков?

Не дав Гнедину раскрыть рта, я развернул бумагу и показал пустое место между «истреблёнными» и «храбростью». Нет их там. Бумага писала про войну, которую капрал не видал.

Гнедин побледнел, но держался. Плечи его вдруг распрямились, как будто он вновь уверился в себе. Взгляд его на полсекунды ушёл к Свербееву — короткий, почти неуловимый. Свербеев едва заметно кивнул вполоборота. Я понял: писарь не один.

И тогда я положил на стол последнее. Развернул чужой черновик, лежащий у Клокова с копией маршрутов, и повёл пальцем левой руки по линии фуражирного выхода.

— Про храбрость мою в бумаге написано. А про вот что — не написано. Выход фуражиров назначен завтра. По этой бумаге на дальние пикеты, четыре версты, дорога чистая. Я ту дорогу знаю, господа, я по ней ползком ходил и считал. До пикетов, по моему ползучему счёту, вёрст одиннадцать с четвертью — до перемера это только прикидка. На седьмой версте гряда оврагов, которой на этой карте нет вовсе. А за грядой отсветы и дым шведских дозорных огней я видел сам. Выход пойдёт на четвёртой версте считать себя в безопасно-

сти и на седьмой войдёт в лоб развернутым пикетам.

Я поднял глаза от карты и обвёл шатёр — как солдат, спрашивающий у старших одно:

— Вот я и спрашиваю, господа: кто подпишет этот выход?

Тишина. Настоящая, физическая. Адъютант застыл с пером над бумагой, и капля чернил повисла на пере, готовая упасть, но не падавшая. Смеявшиеся смотрели в стол. Свербеев открыл рот и закрыл. Подписаться под выходом, где только что при тебе посчитали твоих же будущих покойников, не нашлось желающих.

Клоков выдержал паузу. Он единственный, кто умеет молчать дольше меня. Потом сказал негромко, дневальному:

— Фуражирный выход отменён до перемера земли. Писарь Гнедин остаётся при столе. Подьячему с мерной биркой быть к полудню. А тебе, капрал, с подьячим идти: ты ту землю ползком мерил. И слушай меня: пока они у костров греются, гляди их глазами. Мне не версты нужны, мне нужно знать, сколько их там и где колонна пройдёт живой.

Свербеев вспыхнул. Он встал быстрее, чем позволяют манеры, задел лавку и, направляясь к выходу, уронил вполго-

лоса кому-то за спиной:

— Посмотрим, как долго продлится эта ваша честность.

Конвой собрался у околицы, под покосившейся придорожной часовенкой, где иконы уже облупились до досок. Солнце стояло высоко, но воздух был холодным, прокуренным дымом с дальней трубы. Подьячий Феоктистов, человек в потертом сукне, с лицом, изможденным чернилами и скукой, медленно разворачивал чехол. Он делал это с явным удовольствием: наконец-то его вынули из-за стола: вместо пера ему дали дело руками. Из чехла он достал бирку — гладкий сухой шест в четыре аршина, размеченный жирной масляной краской, с восковым шнуром и тяжелым медным кольцом на конце. Кольцо я взвесил левой ладонью — тяжёлое, кисть потянуло вниз. Шест пах свежим строганием и льняным маслом; провёл ладонью по нему — заноз нет.

— Мерить буду от сего столба до шведского граничного знака, что за дальней балкой, — объявил Феоктистов Клокову, не глядя на меня. Голос у него канцелярский, ровный, лишенный всякого интереса к земле под ногами. — Как мерить велите, господин сержант? По тракту али по прямой?

Гнедин, стоявший чуть поодаль с засунутыми за пояс чернильницей и пером, сделал первый ход. Тихий, канцелярски

безупречный, с уверенностью ответа, известного заранее.

— По тракту, господин подьячий, само собой. Тракт — дорога казённая, столбовая; по ней и писать будут, по ней и ходят. Прямая — дело птицы, не писаря. Птица летит, а солдат бредет.

Звучало разумно. Звучало так разумно, что Дорош, начальник конвоя, одобрительно кивнул, а Феоктистов уже положил медное кольцо шнура у основания столба. Я слушал и молчал. Видел ловушку сам: по этой земле я ползал в прежних дозорах.

Тракт от околицы первые три версты идёт ровно, как струна. А потом, на четвёртой версте, перед грядой оврагов, он ныряет к югу, начиная объезд, обходя топь и крутой склон. По моему ползучему счёту прямо до знака вёрст одиннадцать с четвертью, трактом же — все двенадцать с половиной. Черновиковы же четыре не бьются ни с той, ни с другой цифрой: такой дороги нет ни напрямик, ни по казённой колее. Пока перемера нет, я считаю четвёрку ошибочной или подложенной — но при людях это надо доказать землёй. Мерить по тракту значит мерить полный объезд, которого черновик не знает. Но спорить сейчас значит встать в словесную перебранку до первого же доказательства. Доказать можно только двумя счетами сразу.

Я переглянулся с Клоковым. Сержант сидел верхом на своей гнедой, лениво чистил сапог щеткой. Он чуть повел подбородком: веди. И я предложил третье решение, которое нельзя было оспорить ни чином, ни здравым смыслом.

— Мерить будем и по тракту, и напрямик, господин подьячий. Два счета. Кладём оба рядом и ставим их против черновика: земля, по моему счёту, даст и одиннадцать с четвертью, и двенадцать с половиной, а в бумаге писано четыре. Оба измерения проверят эту цифру, и оба её не подтвердят.

Феоктистов посмотрел на Гнедина. Гнедин помедлил. Секунду. Полсекунды дольше нужного. Отказаться от второго счета означало признаться в страхе перед правдой прямо здесь, при конвое и начальстве. Согласиться значит дать мне возможность показать землю такой, какая она есть.

— Два так два, — произнес Гнедин, и голос его стал на полтона выше утреннего школьного тона. — Бумага двух счетов не боится. Пусть будет двойная проверка. Для точности.

Клоков спрыгнул с седла. Он подошел к бирке, перехватил медное кольцо в свою руку и сам потянул шнур вдоль первой пробежки. Жест был простой, но весь конвой замер.

Начальник участка встал в измерение телом. Это больше не была капральская затея или писарский спор. Это стало делом службы.

Кто-то из задних рядов конвоя, молодой парнишка с перевязанным ртом, уронил вполголоса:

— Вёрсты мерить при офицерах... служба пошла.

Клоков обернулся. Спокойно. Без окрика, без злости. Просто смотрел.

— Служба и пошла. Мерило у вас до сих пор держали в руках чужие писари, и хоронили вы себя чужим счётом. Теперь будете своей ногой считать, куда ступаете.

Парнишка с перевязанным ртом ковырнул землю носком сапога. Сосед его кашлянул в кулак. Больше никто слова не вставил.

Ропот умер в тишине. Мы тронулись.

Первые полторы версты шли ровно. Феоктистов работал старательно: ставил кольцо у пятки, укладывал шест вперёд, натягивал восковой шнур. Щелчок, шаг, щелчок. Гнедин шёл рядом с ним, читал свои пометы вслух, время от

времени сверяя землю с бумагой, играя роль честного помощника.

— Верста первая, курган справа, по бумаге сходится.

Сходилось. До поры до времени всё сходилось. У лжи всегда есть тактика: первые вёрсты должны быть правдивыми, чтобы никто не заподозрил подвоха в середине пути. Я молчал и считал вспаханные межи слева. Ночью я сам шёл по этим межам, а каждый камень, каждую борозду помню и сейчас.

На третьей версте разговор по дороге стал живым. Феоктистов разогрелся; по всему было видно, что власть цифры над людьми ему приятна. Он начал болтать, не глядя на Гнедина, словно исповедуясь перед самим собой.

— Мне её, бумагу-то, четыре раза переписывали, — говорил он, тыча пальцем в свой журнал. — Первый сказ был: «двадцать душ и ушли». Потом исправилось на «полторы сотни». А под конец господин писарь принесли готовый текст: «триста и полный обоз». Я, дурак, и переписал. Почерк-то чистый, чего сомневаться. Цифра красивая. Командиру приятнее.

Гнедин услышал это. Его лицо ничего не выражало, но

шаг ускорился. Он ушёл вперёд, к Клокову, уводя разговор, оставляя за собой повисшую в воздухе грязь. «Насчёт подъёма, насчёт версты — надо проверить», — сказал Гнедин. Слово «красивая» осталось висеть между нами, как запах дыма. Я молчал. Мне не нужно комментировать чужую подлость. Мне нужно довести дело до конца.

И мы дошли.

На четвёртой версте тракт начал врать по-настоящему. Дорога плавно, почти незаметно забрала к югу, начиная длинный объезд. Феоктистов, послушный прямому счёту, шёл торопко — по шагам его было видно: хочет покончить с мучением быстрее, — и резал напрямик через поле. Прямой счёт вёл дальше, через всё поле, и лишь на седьмой версте конвой упёрся в то, чего на черновике Гнедина не было вовсе.

Земля перед нами провалилась. Длинная, изломанная гряда оврагов тянулась через всю долину. Стенки в рост человека, осыпавшиеся склоны, сухие русла ручьев, терновые заросли на краях. Не ямка после дождя: глубокая, древняя трещина в теле земли, которую не спрячешь в карман.

Феоктистов остановился на краю. В руке он держал шест, как потерянную палочку для еды. Впервые за день он смот-

рел на бумагу в своих руках снизу вверх. Как на вещь, которая его подвела. Потом поднял карту ближе к глазам, слегка поворачивая её и ища упущенное.

— Этого... здесь нет, — бормотал он, тыча пальцем в карту Гнедина. — Здесь по бумаге ровное место до самой балки. Господин писарь. Здесь ровное место?

Гнедин подошёл к краю. Посмотрел вниз на темные нити оврагов, потом на свою карту — развернул её против ветра, придержал угол локтем. По лицу его я увидел: припасена и вторая отговорка, гладкая, как полированная монета.

— Овраги — дело весеннее, — сказал он, выпрямив спину, словно учитель, поправляющий нерадивого ученика. — Господин подьячий, вода их каждый год режет по-новому. Карту писали в марте, тогда и вправду ровно было. Земля, она живая. Она меняется.

Он ждал кивка. Ждал согласия, что в ошибке виновата природа.

Я не стал спорить. Словами здесь не помочь. Нужна улика, взятая с самой земли. Нужно доказательство, которое нельзя списать на весну.

Я спустился по склону первого оврага. Левая рука скользила по глине, цеплялась за корни. Правая бесполезно висела в перевязи, прижатая ремнем к боку, но я чувствовал тяжесть плеча. Внизу, в дне оврага, среди сухих веток, торчал старый ольховый пень. Толстый, в три обхвата, покрытый серой коркой лишайника. Он стоял тут десятилетиями.

Левой рукой я выхватил нож. Срезал у самого основания пня щепу. Древесина внутри была плотная, темная, пропитанная временем. Я поднялся обратно, тяжело дыша от подъема и боли в боку, и протянул щепу под нос Феоктистову.

— Весенняя вода пня в три обхвата за одно лето не нарежет, — сказал я тихо, но так, что слышно всем. — Гряда старая. Её на бумаге не было, потому что бумагу писали со слов; земли она в глаза не видала. Или не хотели видеть.

Щепа лежала на ладони подьячего. Отговорка о «живой земле» умерла при конвое. Осталась одна правда: гряда есть, на карте её нет, а за грядой то, о чём я говорил на разборе. Чужие огни.

Мы стояли на краю. Конвой должен идти дальше, но как? Биркой прямой счет через эту землю не продолжишь. Феоктистов мялся, теребил шнур — по всему было ясно: цифру он уже похоронил.

И тут Гнедин вышел вперёд с готовым решением. Голос его стал заботливым, мягким, заранее извиняющимся — забота напоказ, чтобы загладить любой спор.

— Господа, что мы время теряем, — сказал он, указав вправо, вдоль гряды. — Я тут ходил осенью с фуражирами, есть ближняя тропа. Она гряду обходит вплотную, ведёт к баштанам, а от баштанов до пикетов рукой подать. Полверсты экономии, и мерить ровно. Извольте, я укажу.

Он указал уверенно. По-хозяйски. Тропа и вправду была видна: натоптанная дорожка, вьющаяся у подножия гряды, скрытая высокой травой. Конвой свернул на неё.

Я шёл последним. И читал землю: где копытом срезан пласт, где трава легла поперёк ветра. Ремесло, которое у меня отняли вместе с правой рукой, но которое не может быть отнято у головы и глаз.

Через полтораста шагов чтение сошлось в одну точку, холодную и звенящую.

Тропа держалась открытого склона. Слева от нас гряда отступала, создавая слепую зону. Справа расстилалось пологое жито, выгоревшее, редкое. А дальше, на полторы-две

версты, тянулась голая лысина, уходящая до горизонта. И на этом горизонте, на фоне неба, стояли три темные точки.

Кусты? Камни?

Глава 3

Я остановил конвой жестом. Поднял подзорную трубу Клокова — он позволил взять её без вопросов, просто передав рукоять. Я навёл оптику на точки. Линзы сфокусировали картинку.

Точки превратились в конные фигуры. Люди на лошадях. Они стояли у костра, грелись, ходили вдоль гряды челноком туда-сюда, туда-сюда. Их движение перекрывало выход с нашей тропы на лысину ровно в тот момент, когда мы бы оттуда вышли.

Шведский разъезд. Или ватажный дозор. Им всё равно. Главное — они ждут.

Тропа выведет конвой на открытое место. На две версты на виду, как на ладони. Кто-то очень хотел, чтобы русская проверка вышла туда именно к вечеру. Саботаж. Убийство проверки ради ложной карты. После обнаружения мерить было бы нельзя. Цифра умерла бы вместе с людьми. А обвинение Гнедина рассыпалось бы в прах.

Я подозвал Клокова. Передал трубу. Сержант смотрел

долго. Молча. Потом опустил трубу и произнёс одно слово. Не имя. Приговор.

— Спуск.

Дальше началось движение без команды. Я поднял левую руку. Все шесть бойцов конвоя осели в жито, в теневую полосу под стенкой гряды. Они легли, как один. Потому что за эти дни люди научились верить поднятой руке командира больше, чем крику.

Разъезд на горизонте не дрогнул. Слишком далеко. Слишком мелок лежащий в жите человек против желтой стерни.

Мы лежали десять минут. Смотрели, как чужие кони ходят челноком по чужой для карты земле. Дорош шепнул справа, губами почти касаясь травы:

— Они ж по гряде ходят, как по своей улице.

Я ответил ему — тихо, чтобы услышал только он и те, кто лежит рядом.

— Они по ней и ходят по своей. Наша бумага нас сюда сама привела. Прямо под их дворы.

В этом молчании, в запахе прелой травы и пыли, Гнедин стал серым. Он лежал чуть поодаль, его черновик торчал из-за пазухи. Я видел, как он прижимает бумагу ладонью к груди, будто она может его выдать. Будто она горячая.

Лёжа в жите, я делал то, ради чего пришёл. Считал. Конных на вахте оказалось четыре. Сколько длится смена, неведомо: я лежал не настолько долго, чтобы застать пересменку. Пикетные огни за грядой горели стабильно: ночлег. Не меньше взвода. Единственный проход, где колонна не ляжет под челнок, — лощина за грядой, узкая, глухая, с выходом к башкирской дороге.

Я заносил это в журнал огрызком угля — уголь крошился, и я сдувал крошку со строки, не трогая записи пальцем. Левой рукой, криво, но читаемо. Не для Феоктистова. Для себя. Для Клокова. Сейчас я считал живое: где завтра идти людям, чтобы они дошли.

Клоков, лёжа рядом, повернул голову к Гнедину. Не крикнул. И от этого было страшней.

— Писарь. Тропу тебе кто кажет — память али человек?

Гнедин открыл рот. Закрыл. Его кадык дёрнулся.

— На подум до вечера, — заключил Клоков и отвернулся обратно в траву.

Отход привёл конвой в лощину за грядой — ту узкую, которую я отметил как единственный проход. Безопасную. И бесполезную для взгляда: отсюда ни пикетов, ни граничного знака не видно.

Феоктистов сел на камень, положил шест поперёк колен. Его лицо было искажено досадой.

— Мерить отсюда нечего, — честно сказал он. — Ориентира не видать. А без ориентира счёт — пустой звук, хоть ты тресни.

Я почти не слушал его жалоб. Палец сам собой выводил на земле у колена что-то вроде креста — и стирал. Я вспоминал прежнюю ночь. Ночной дозор. Я лежал на краю гряды, у одинокого кладчаного камня — межевого знака, серого, вросшего в землю, с полустертым крестом на боку. С этой точки, с гребня, открывалась даль. Там был виден граничный знак у башкирской дороги. Но главное — отсюда, с гребня, видно то, чего не видно ниоткуда: всю лысину разъезда целиком. Их коновязь. Огни ночлега за грядой. Где ходит челнок, а где земля пуста.

Никто в конвое этого гребня не знал. Дорош, посланный искать, зашевелится на стерне, и его заметят. Между моей лежанкой и лощиной двести шагов стерни. Полого, вверх, против ветра. На гребне в прямой видимости от челнока.

Я сказал Клокову коротко, по-солдатски, без лишних объяснений.

— Есть камень. С него вся лысина как на ладони. И вся ихняя походная жизнь: кони, огни, где ходят, где не ходят. Мне надо лечь на тот гребень и посчитать их живыми. К утру колонна пойдёт. Бирку возьму: заодно подьячий получит свой ориентир, знак с этого гребня виден одному мне. Двести шагов стерни, ветер в лицо, лежачего в жёлтой стерне с полверсты не разглядеть. Я той ночью пробовал.

Клоков молчал. Дорош втягивал воздух сквозь зубы. Феоктистов раскрыл рот: подьячий, человек цифр, похоже, впервые понимал, что цифру будут добывать ползком под чужим ружьём.

Клоков спросил одно — «почему ты».

— Почему не Дорош? — он кивнул на молодого, здорового сержанта. — Дорош моложе и здоровее. И все это знают.

— Потому что Дорош не знает, где камень, — отвечал я. — Будет искать — зашевелится. А я знаю. Та ночь была моя и камень мой.

Клоков смотрел на меня секунды три. Потом снял с себя подзорную трубу. Он подал её мне в левую руку, стволом вперёд. Это был жест доверия, которого я не ждал.

— Ползи. Ляжешь — лежи, хоть до темноты. Мне не версты нужны — мне нужен их счёт и проход живыми. Капрал нужнее бирки.

Феоктистов тем временем достал из чехла, рядом с биркой, свёрнутый межевой план и запасный мерный шнур.

— Камень ваш в плане есть, — сказал он, ведя пальцем по строке. — Одинокий кладчаный, с полустёртым крестом на боку, поставлен межевою съёмкой; от него до граничного знака у башкирской дороги промерен известный отрезок. Точность тут межевая, к чужим бумагам её не прикладывай. Только удостоверьтесь сами, что это ваш кладчаный, и гляньте, виден ли знак с гребня. А от лощины до камня домерим моим шнуром и сложим с планом.

Я читал строку плана: одиночество, серый вросший бок, крест — всё сходилось с тем, что помнил ночью. Знак с греб-

ня я видел — стало быть, виден. Я взял бирку. Вязал её за спину ремнём крест-накрест. Ремень, стоило наклониться, впивался в здоровое плечо. Каждый толчок ногой отдавался тупым гулом в обожжённой правой ладони. Ладонь нынче болела так, что держать ею ничего было нельзя. Я учился толкаться локтем. Шест вдоль хребта. Труба за пазуху.

Конец запасного мерного шнура Феоктистов держал закреплённым в лощине, у себя. Я ушёл вверх по стерне. Попластунски. Против ветра. С носка на локоть. С носка на локоть. Моток разматывался вдоль моего ползка.

Жнивьё кололо локти сквозь рукав. Локоть обдирался о стерню до мяса: левой стороне доставалась вся работа, и она платила за правую. Ремень бирки резал здоровую лопатку. Обожжённая ладонь под повязкой от каждого толчка отдавала болью до локтя. По боку полз только пот. Я чуял собственный солёный запах, смешанный с пылью стерни. В пересохшем горле был вкус медной полыни.

Дважды по гребню проходил чужой конь. Я вжимался в землю, и жёлтая стерня глотала меня. Разъездной всадник смотрел на стерню, на жёлтое ровное пятно, и ехал дальше.

У камня я лёг. Шнур был вытянут до конца: сделал на нём отметку и затянул узел. Достал трубу. И работал.

Считал вахты. Коней у коновязи девять. Огни за грядой — три, ночлег не меньше взвода. Проходы челнока. Пустую полосу у башкирской дороги. Всё в журнал, огрызком угля, левой рукой, криво, но читаемо.

Потом, уже для Феоктистова: сверил камень с описанием из его плана — одинокий, кладчаный, крест на боку полустёрт, всё сходится. Граничный знак на горизонте виден, чётко, в крестик паутинки. От камня до знака взял промер из межевого плана. Спустился к лощине другим краем стерни. Уже по ветру. Быстрее.

Возврат. Феоктистов принял мой конец шнура и натянул его во всю длину по ровному дну лощины. Отметка у камня стояла на месте: подьячий мерил вытянутый шнур, выписывал промер от лощины до камня и складывал сумму — свой счёт от околицы до лощины, шнур до камня и межевой отрезок камень — знак из его плана.

Клоков читал другое. Он взял мой журнал, смотрел на строки, написанные моей левой рукой. «Девять коней. Три огня. Взвод за грядой. Проход живыми — лощина, выход к башкирской дороге». И сказал конвою то, ради чего я полз двести шагов против ветра:

— Вот это карта завтрашнего дня. Теперь колонна пойдёт живой.

Обратный путь конвой шёл молча. Феоктистов нёс шест, как несут вещь, которая сегодня стоила чужой крови по локоть в жнивье.

У околицы Феоктистов произнёс итог вслух, голосом человека, который подписывает приговор. Тракт с попутным объездом домерили биркой на обратном пути, по безопасной стороне.

— От околицы до шведского знака одиннадцать вёрст с четвертью. Сложенным счётом. Трактовым все двенадцать с половиной, объезд. В черновике писано четыре.

Потом Клоков остановил конвой и сделал две вещи. Коротко. При всех.

Первое — вопрос Гнедину, тот, что оставлен ему на подум.

— Ну, писарь. Чем мерил?

Гнедин смотрел в землю. Его пальцы, испачканные чернилами, теребили край сюртука, путаясь в пуговицах.

— По сказкам охотников, господин сержант. По зимним сказкам.

Клоков ответил ровно. Без крика.

— Земля меряется землёй; сказки мерой не служат. А сказочник, что под гряду конвой тропой выводит, тот сказочник уже не писарь. Я его спрошу отдельно. Вечером.

Второе — он принял от Феоктистова лист с двумя счётами. Свернул его. Убрал к себе за пазуху. Подальше от любой руки.

— Перепишешь набело при мне, — сказал он подьячему. И добавил, кивая на мой журнал: — И это перепишешь. Про девять коней и три огня тоже. Проход для колонны в бумагу набело, до рассвета.

Гнедин стоял с непокрытой головой; покрыть ему не приказывали. Я глядел на крайнюю пуговицу его сюртука: нитка вдвое, узел сбоку. Мне показалось, что в этой картине конвой увидел конец целого мира — сорок лет ремесла, глядящего в землю у околицы. Мир, в котором бумага была сильнее земли.

Распуская конвой, Клоков задержал меня одним движением пальцев. Люди расходились. Феоктистов, уходя, сам, без подсказки, договаривал то, что положит кол под следующим утром:

— Напишу и это: чем мерили. И чем считали.

В бумагу ляжет и ползок, и разъезд, и тропа.

И последнее — о находке, о которой я думал уже у самого лагеря. На обратном пути, ещё на спуске с гряды, в сумерках, я шёл позади всех, машинально, по привычке читать всё, что висит и цепляется. Среди терновника на гребне попался мне клок шерсти. Синей. Обрывок той же двойной крутки, что и на кушаке, — зацепившийся неизвестно когда. Быть может, за седлом самого разъездного.

Тогда я снял клок и убрал за пазуху, рядом с кушаком. Теперь, у поворота с тракта, глядя вслед конвою, уходящему с живым маршрутом для колонны, за который заплачено стерней и лопатками, я вертел его на ладони и думал о нити у Клокова — той, что Мокей доставил. Ещё один предмет той же руки — после кушака и нити.

Пока я считал врага, сеть считала меня.

Клоков положил лист перед Гнединым на стол, придавил ладонью и держал секунду, глядя писарю в глаза так, будто проверял бумагу — и человека под ней. Плац перед шатром освещали два фонаря; свет падал на сукно стола, выхватывая чернильницу, перо и бледные пальцы Гнедина, которые теребили край рукава. Вокруг стояли люди: мой наряд, полковые старослужащие, офицеры из утреннего разбора. Воздух был густой, тяжелый от ожидания зрелища.

— Тут пятнадцать душ, — голос Клокова был ровный, без нажима, но резал тишину, как топор полено. — У каждой место, где она стояла. Ты будешь читать вслух. Я слушать, где соврёшь.

Гнедин взял лист. Рука у него дрожала, он прижимал бумагу к груди, чтобы стабилизировать дрожь, но это только подчеркивало её; по краю пошла мятая волна, уголок загнулся, и Гнедин распрямил его большим пальцем, не отрывая листа от груди. Первые три фамилии он читал школьным, привычным голосом, чеканя слоги, как будто диктовал список казённого имущества. Но на четвёртой строке он споткнулся — о то, как было написано слово. Феоктистов, писавший под мою диктовку, вместо сухого «рядовой Кузьма Шумов» внёс в строку живое описание: «Кузьма Шумов, у плетня, стерёг шведа и вёл счёт дозора». Гнедин впервые читал свою роту как карту действий, мимо привычного переч-

ня имён для ведомости. Он поднял глаза на строй — строй стоял и слушал себя.

Кузьма, услышав про себя «стерёг шведа», переступил с ноги на ногу и опустил голову; руки девать было некуда — гладил сначала пояс, потом шов на рукаве. Большой мужик, прошедший воду и огонь, не умел стоять, когда его хвалили бумагой. Федька, услышав «Фёдор Малой, держал двор и лаз подпола», вытянулся так, что ремень впился в живот, но он даже не морщился, только губы шевелились, повторяя своё имя. Они слушали правду о себе; рапорт остался где-то в стороне.

Я стоял в строю недолго. В голове шумела одна-единственная мысль: гребень, три огня за грядой, колонна, которая завтра шагнёт в эти огни. Слова Гнедина, торжество над реляцией — всё это стало лишним грузом, который тянул вниз, в болото канцелярии, пока кровь требовала движения. Я сделал шаг вперёд, выход из строя нарушал устав, но Клоков не остановил меня жестом. Я ударил левой ладонью по столешнице коротко, сухо, так, что чернильница подпрыгнула, и капля темной жижи скатилась на белый лист.

— Господин сержант. Довольно фамилий, — сказал я тихо, но каждый на плацу слышал. — Пока мы их читаем, авангард, боюсь, снимается. Я его огни своими глазами считал,

лежал в жите под дулами. Колонна выйдет на рассвете по старой копии, и на седьмой версте её встретит взвод, которого на карте нет. Мне нужны люди на разметку пути сейчас, ночью. Бумага подождёт. Кровь не подождёт.

Тишина на плацу стала звенящей. Все ждали окрика за самовольство, за грубость, за прерывание ритуала наказания. Окрика не последовало.

— Писарь, пиши, — приказал Клоков, не повышая голоса. — Феоктистов, сверяй. Наряд Рябова за жердями и холстом, и чтоб к полуночи вешки стояли на живом повороте. Гонец ждёт с седлом. — И уже мне, тише, почти одними губами: — Стой за нарядом. Феоктистов сверит с тобой поворот по новой копии, подготовите жерди и холст — и немедля выступите, чтоб к полуночи вешки стояли. Твоё дело не в этом шатре.

У выхода я придержал шаг: наряд ещё не распустили, и я встал в краю света от фонарей, среди своих, дожидаясь Кузьмы. Оттуда, с плаца, мне было видно, как Гнедин сел к столу: чернильница, перо, подсвечник. Его рука шла по строке и на слове «одиннадцать» остановилась. По тому, как дважды он начинал строку и дважды скрёб пером по бумаге, оставляя мокрые следы, читалось: рука отказывалась превращать четыре версты в одиннадцать, и злобы в этом не было. Та

четвёрка, которой он жил последние дни, которой, как я подозревал, кормил семью и надеялся закрыть грех, не желала менять форму. Клоков не торопил. Он встал за спиной писаря и читал через плечо, буква в букву, голосом человека, который проверял жизнь сквозь почерк.

От стола перед шатром мне долетел голос Клокова:

— «Одиннадцать… с четвертью». С четвертью, писарь. Четверть — это чья-то спина, которую довезли бы лишнюю четверть версты под гряду. Пиши четверть. И дальше пиши: девять коней, три огня, взвод за грядой, проход лощиной. Это сегодня главные строки.

Строй не расходился. Вот что важнее самой переписки: люди стояли и смотрели, как наказание делается работой. Кто-то у задних рядов хмыкнул, ожидая фарса; шепоток «пусть дрожит» пополз по второму ряду, ища поддержки в ненависти к тому, кто их судил вчера. Клоков выдержал паузу и перекрыл её службой, без окрика: «Наряд, вольно. Кто не при карауле — может смотреть. Молча». И наряд смотрел молча. Расплата шла страхом и длиной строки, и смеха не получилось. Смех стыдно было бы поднимать, когда ты только что слышал своё имя в той же бумаге, которую переписывает враг.

На исходе первого часа переписки меня вместе со строем поднял крик: в свет фонарей врывался дозорный с дальней трубы. Молодой парень забыл отдать честь, лицо у него было серое от ветра и ужаса.

— Сержант! Авангард снялся со стана. Тянут вдоль гряды оврагов. В обе стороны от трактов.

Глава 4

В шатре и на плацу стыл воздух. Клоков раскатал полковую карту прямо на столе, поверх черновика Гнедина; угол задел чернильницу — Гнедин подхватил её, глаз не отрывая, — и мне стало ясно одно: авангард шёл по местности, которой карта не знала. Если рассветная колонна выйдет по старой копии, она выйдет в лоб развернутому корпусу на земле, которую её бумага считает голым трактом. Ложь перестала быть вопросом честности. Она стала прогнозом похорон.

Клоков сказал коротко; сержантский голос исчез, зазвучал голос человека, который чувствует, как земля уходит из-под ног:

— Гнедин, пиши быстрее. — И, повернувшись в мою сторону, крикнул: — Копии мало. Гонцу нужна земля. Ставь вешки!

Мы с Кузьмой уже были в темноте. Двое, две сапёрные лопатки, пучок жердей, нарезанных сразу после возвращения с тракта. Лопатка стучала о бедро в такт шагу, и Кузьма просил вполголоса:

— Не стучи. В темноте слышно за версту.

Я ждал этого приказа с минуты, как увидел три огня за грядой: ещё вечером, по возвращении с тракта, я договорился с каптенармусом о жердях и холсте на вешки — привычка готовиться к беде, не дожидаясь её срока. Настоящий поворот был там, где гряда изгибается к тракту и где старая карта выводит колонну прямиком на открытый склон под челноком разъезда. Днём здесь грелись чужие кони. Я помнил их вахту, помнил, с какой стороны всадник обходил лощину, помнил шорох травы под копытами.

Мы рубили и втыкали семь вешек. Белые полосы холста на жердях. Холст казённый, выданный каптенармусом вместе с жердями. Я отрезал свою долю молча, при Кузьме, ножом левой руки. Кузьма был рядом и держал жердь, когда надо. Вешки читались с тракта даже в слабую луну: колонна, идя по исправленной бумаге, увидит их за полверсты и обогнёт гряду лощиной по земле, которую днём считал своим телом; чернильная прямая отпадала.

Кузьма работал вторым номером: держал, вбивал, молчал. На четвёртой вешке, у самой кромки, где днём лежал наш наряд в жите, он вдруг сказал в темноту, не оборачиваясь, голосом глухим, как камень в колодце:

— Днём-то я тут лежал. И оно теперь ходит над моей лежкой.

У следующей вешки он дёрнулся, ткнул лопаткой мимо намеченной лунки, буркнул что-то и вбил кол со второго раза. Только это и было.

Я не ответил. Потому что чувствовал то же самое. Разметка, которой мы спасали колонну, лежала на земле, где нас чуть не перестреляли из-за этой же карты. Проход живыми подтверждался дважды: я сам прошёл от первой вешки до седьмой, а Кузьма после пошёл обратно и пошатал рукой каждый кол — проверил, крепко ли стоит. Семь вешек с белыми полотнищами — чтобы гонец в темноте не проскочил. Мы ставили спасительные знаки там, где днём была смерть.

Пока гонец седлался, я ушёл к шатру сидельца. Это был перехват между вешками и отправкой, четверть часа, которые я себе выговорил у Клокова перед ночным выходом. Караул свой, из наряда. Сиделец сидел на земле, связанные руки на коленях, и смотрел в полог шатра, как будто там написан ответ на вопрос, который он боится задать.

Я вошёл, сел напротив на пятки, на уровне его глаз, сбоку, без возвышения над ним. И молчал. Долго. Тишина в шатре давила сильнее крика. Потом я вынул из-за пазухи кушак.

Синюю двойную крутку, первый трофей хутора. Я положил сидельцу на колени, поверх связанных рук, — предметом, о котором оба знают, что он значит; угрозы в жесте не было.

Сиделец смотрел на крутку. Скулы у него проваливались, шея напрягалась: человек узнавал вязку. Ткань тут работала как подпись хозяина.

— Чего хочешь-то? — спросил он наконец. Голос хриплый, сорванный.

— Ничего. Я уже всё взял. — Я поднялся, готовясь уйти. — Я думаю, кому её вязали. Не в лагере, говорили. Вот и всё, что я думаю.

И я пошёл к выходу. Это была поставленная пауза, но честная: я действительно уходил, вопрос повис в шатре вместе с кушаком. Из-за полога сиделец окликнул меня негромко, торопливо, как человек, который решился, пока решающий не исчез за порогом:

— Кушаки вяжут не в лагере… и не для одних шведов.

Я остановился.

— И авангард их не сам дорогой пошёл, — торопился до-

брать он, боясь, что волна решимости схлынет. — Им её на бумаге показали. Кто-то им карту рисует. Курьеры их ходят перегоном, что тянется от хуторских труб к башкирской дороге: там их встречают, там листы из рук в руки. Больше не ведаю. Не я. Я возил, я не рисовал.

Это было больше, чем просили. Я вернулся, поднял кушак с колен и на этот раз забрал его себе, обратно за пазуху. Заправлял медленно, нарочито, и смотрел, отвернётся ли сиделец. Не отвернулся: следил, как кушак уходит за пазуху, и по скулам его ходили желваки. Предмет ушёл, слово осталось. На выходе, не оборачиваясь:

— Про заказной лист спрошу завтра. Сегодня ты уже сказал больше, чем думал.

Сиделец молчал. И молчание это было другим, чем час назад: оно считало. Оно боялось.

Перед рассветом была отправка. Гонец, казачок лет семнадцати, получил исправленную копию. Чернила ещё пахли свежей тревогой. Ему дали устную наколку по вешкам: «семь белых жердей, от первой до седьмой держи левее гряды». Казачок повторял наколку про себя — губами, беззвучно, не сбивался, все семь вешек перебрал на пальцах. Потом ушёл в темноту шагом, потом рысью. Кузьма смотрел вслед и ска-

зал, похоже, за всю партию:

— Ну вот. Бумага поехала. А что, если он первую вешку-то в темноте пропустит?

— Не пропустит, — ответил я, считая часы вслух, как считал вёрсты. — К рассвету он как раз доедет. Вот поэтому её и писали ночью.

Один на один. Гнедин, сдав переписанный лист Феоктистову под сверку, догнал меня за шатровой стойкой. Там было пусто, только ветер гулял в коновязи. Он шёл ко мне с тем вторым, что у него осталось, — с мольбой, по-своему, через оговорку; угрозы в этом шаге не было.

— Я писал, что мне давали, — прошептал он, и пальцы его, чернильные, тянулись к моему рукаву. — Спроси у тех, кто давал.

Пауза. Шёпот глуше, почти неслышный:

— Семья у меня. Двое. Не трогай их.

Я смотрел на него. Левая рука сама поднялась — положить ему на плечо, поддержать; секунду повисла в воздухе, и я её опустил. Смотрел на чернильные пятна на его паль-

цах, на переписанное за ночь спасение, на его страх, который стал оружием против него самого. Я знал цену этому ходу. Оправдание «мне дали» — та же механика, что и «четыре версты по сказкам». Но и семью его я правда не видел.

— Я пишу только то, что видел, — сказал я, глядя ему в глаза. — Твою семью я не видел.

По дороге я завернул к шатру Клокова и передал ему кушак с двойной круткой и клок с терновника; пересказал и слово сидельца — про курьеров, что ходят перегоном от хуторских труб к башкирской дороге, — и гнединское «спроси у тех, кто давал». Нить отныне была в его руках. И только тогда я ушёл спать. Гнедин остался стоять с этим ответом. Он не получил пощады. Он не получил угрозы. Он получил рамку, в которой отныне должен был жить. А по лагерю, должно быть, к утру пошла молва, пущенная случайным дневальным у костра: капрал не мстит даже писарю.

Меня подняли с койки: Клоков позвал в шатёр. На столе, при свече, лежало четыре предмета в ряд. Кушак с двойной круткой. Дорожная синяя нить из оброненной соломы под межой, с бересты Мокея. Клок с терновника у гряды. И четвёртым — лист Феоктистова с двумя счётами, где одиннадцать с четвертью стояло против четырёх. Клоков накрыл все четыре предмета своей ладонью.

— Смотри, что у меня вышло, — сказал он.

Он развернул слова сидельца вслух, соединяя их с гнединским «спроси у тех, кто давал»: кто-то вяжет крутки за межой; кто-то рисует карты шведам; кто-то давал писарю четыре версты. Три «кто-то» и нить, которая ходит через все три руки. Я молчал и смотрел на свечу. За пологом шатра светало: по моему счёту, за грядой гонец как раз проезжал первую вешку.

Утро пахло варёной кашей и свежим сеном. Лазарет стоял особняком от плаца, в тени вязов, где солнце только начинало ползти по земле. Я вошёл первым делом, до общего сбора, потому что бумага под кирасой жгла тело сильнее перевязи. Левая рука привычно держала свёрнутый лист, правая была прижата к боку ремнём — узел затянут крепко, обожжённая ладонь под повязкой ныла, но нынче пули я не ронял и хлеба не резал. Нынче я нёс слово тому, кто его сказал.

Левонтий Сухой лежал на носилках у стены, забинтованное бедро было подвешено на лубке так, чтобы раненая нога не касалась земли. Лицо у него было серое, глаза впавшие, но живые. Он увидел меня и сразу стал искать взглядом мою перевязь — судя по всему, проверял, цел ли командир. Я положил ему на грудь лист верного доклада, развёрнутый свер-

ху вниз.

— Твоя строка тут, — сказал я тихо, не садясь рядом, чтобы не загораживать свет. — Читай сам. У тебя глаза моложе моих — прочтёшь без запинки; а если строка расплывётся, фельдшер тут перечитает. Не буду за тебя читать то, что ты видел своими глазами.

Левонтий взял бумагу левой рукой. Правая лежала поверх одеяла и дрожала мелкой дрожью. Он водил пальцем по строчкам, чернильным пятнам и чужим буквам, которые я диктовал ночью Феоктистову. Палец остановился. Тишина в лазарете густела, слышно было только, как сопит соседняя койка и капает вода из ведра. Левонтий молчал так долго, что фельдшер за дальним столом поднял голову. Я и сам ждал от Левонтия крика или слёз.

— Тут сказано... что я первый крикнул, — произнёс он глухо, голос срывался на хрип, и на секунду закрылся бумагой, как от света. — Про подпол. Что я знал про люк. Что я показал, где шведы лежат.

— Ты первый и крикнул, — ответил я ровно, без жалости и без похвалы. — Я записал то, что слышал сам. И то, что видел ты. В этом докладе нет ни одного моего «примерно». Есть только твоё слово. Оно легло в бумагу без искажения.

— Времени-то было... на полдыха. Мы думали, они нас перестреляют.

— На полдыха. И ты в него успел. Если бы ты молчал, мы бы там все остались. И колонна нынче на рассвете вышла бы в лоб тем же дулам.

Левонтий заставил фельдшера перечитать вслух ещё раз. Он слушал свою фамилию в чужом голосе, чтобы поверить, что она и вправду стоит в казённой бумаге, не во сне им выдумана. Фельдшер читал механически, бормоча под нос, и на словах «показания раненого обозного» Левонтий вздрогнул всем телом. Потом он спросил уже о другом — о том, ради чего всё это затевалось:

— Гонец-то доехал? Колонна-то как?

Я не знал ответа точно. Левая ладонь легла на край носилок и держалась за него — хоть что-то занято. Внутри всё сжималось от ожидания. В этот момент от входа донёсся топот сапог по гравию. Дневальный, молодой парень с красными щеками, принёс слово от вернувшегося с тракта казачка. Он говорил быстро, торопливо, и я понял: боится забыть.

— Капрал! Командир! Гонец доехал. Первая вешка най-

дена. Колонна обогнула гряду лощиной. Фуражиры прошли мимо оврагов. Живыми прошли. Никто не лёг. Ни одна лошадь не увязла.

Я повторил это Левонтию вслух, глядя ему в глаза. Раненый слушал и медленно отвернулся к стене. Рука его лежала поверх одеяла ладонью вверх, и пальцы медленно разжимались, один за другим. Плечи мелко затряслись, и он выдохал. Долго, тяжело, как человек, который вторые сутки держит воздух в лёгких и наконец позволяет себе дышать.

— Ну вот, — сказал он в стену. — Стало быть, не зря я в той яме вторые сутки просидел. Не зря рот открывал. Значит, люди живы. Значит, моя строка их жизни и сберегла.

Я забрал бумагу: она была нужна мне на плацу, её должны были зачитать перед строем. Но Левонтий попросил: «Оставь списать». Фельдшер переписал его строку на клочок бересты, раненый прижал клочок к груди, потом спрятал его под подушку. Это был его документ, его возврат в жизнь, его доказательство того, что он человек, чьё слово спасло других, а мясо для мясорубки из него не вышло. Для штаба правда, которую я тащил через разбор, была строкой. Для тех, кто в ней жил, — весом.

Плац залило солнцем. Рота стояла полукругом, и тишина

была такая, что слышно, как ветер шелестит травой у околицы. Клоков вышел к нам с двумя бумагами в руках: наградной записью и листом верного доклада. При нём были адъютант Вейля со своим блокнотом, пара офицеров из любопытства и Свербеев, который держался чуть в стороне, скрестив руки на груди. Лицо у него было каменное, но глаза бегали по строю — искали, по всему видно, моей слабости.

Клоков раскатал лист верного доклада на столешнице, придавил углы камнями и начал читать. Он читал ровным канцелярским голосом, и каждое слово ложилось в уши как гвоздь.

«Наряд признан образцовым. Действия исполнены в условиях дефицита боеприпасов и времени. Потери среди личного состава наряда ноль. Пленённые взяты живыми. Информация добыта достоверная.»

Затем шёл поимённый список. Кузьма Шумов, у печи, стерёг язык. Яшка Сорокин, у чёрного окна, принял бой. Федька Малой, над подполом, держал оборону. Левонтий Сухой, показания которого легли в основу доклада без искажений.

Строй слушал свои имена. Кто-то у задних рядов перестал ёрзать. Кузьма выпрямился, спина его расправилась под старым кафтаном; кафтан осел по плечам, и он привычно потя-

нул ворот, поправляя его. Яшка побледнел, но держал подбородок вверх. Федька замер по стойке смирно, и ремень на нём натянулся так, что скрипел.

И тогда Клоков сделал то, чего никто не ждал. Он отложил наградную запись в сторону и сказал:

— Показание о бою у чёрного окна требует подтверждения очевидцем. Офицеры там не были. Сержант Белов был занят сектором. Капрал Рябов командовал общим порядком. Единственный, кто стоял напротив ворвавшегося чужака и видел исход стычки, — рядовой Сорокин. Выйди из строя.

Тишина стала звенящей. Все обернулись к Яшке. Парень замер, как вкопанный, потом медленно шагнул вперёд. Ноги у него подгибались, но он держался. Он подошёл к столу и остановился в полушаге от меня. У него ходили желваки, и костяшки пальцев белели на сжатых кулаках.

— Расскажи строю, как взяли первого чужака, — приказал Клоков мягко, без угрозы. — Только то, что видел сам. Если не видел — скажи «неведомо». Не смей додумывать.

Яшка открыл рот. Первый звук, который он издал, — сдавленный хрип.

— Мы... — Голос сорвался, тонкий, мальчишеский, полный ужаса. Строй слышал этот срыв. Кто-то у края шевельнулся, ожидая позора. Яшка глотнул воздух, шумно, как рыба на берегу. Он сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Он поднял глаза на Клокова, потом на меня. И вдруг выпрямился.

— Чугун горячий в лицо, — сказал он резко, рубя словами. — Ухват в горло. Я держал засов. Он бился. Я видел, как командир левой рукой подрезал ему ногу. Больше ничего не видел. Дальше неведомо.

Он замолчал. Дыхание было тяжёлое, прерывистое. Но он договорил. Дошёл. Не сломался.

Клоков выдержал паузу. Секунду. Две. Три. Затем он обратился к строю, ко всем сразу:

— Вот так выглядит показание. Дрогнуло и дошло. Я такое от офицеров не всегда слышу. Они часто путают виденное с желаемым. Этот солдат сказал правду, хотя язык ему трясло. Запомните это. Правда стоит дороже спокойного голоса.

Федька в ряду плакал. Руки его были прижаты по швам, слёзы текли по грязным щекам, но он не вытирал их, пото-

му что нарушить строй нельзя. Кузьма, не поворачивая головы, шепнул ему в ухо: «Сглотни, охотник». Федька сглотнул, всхлип оборвался, и он продолжал держаться, но теперь лицо его сияло — стыд ушёл, и проступала какая-то дикая, взрослая гордость.

— Обещание, — сказал Клоков громче, адресуя это всему лагерю. — Рядовой Федор Малой числится кандидатом в охотники при первой вакансии. Слово дано при строе. Слово держится.

Чтение кончилось — настал черёд трофеев. Кузьма от имени наряда вынес из-за спины топор. Снятый с тропы у костра за межой, с рукоятью, потемневшей от крови и жира. Он положил его перед Яшкой на землю.

— По праву боя, — объявил Клоков. — Взят твоей рукой в защите товарища. Бери.

Строй замер. Все ждали, что парень схватит железо. Яшка глядел на топор. Долго. Очень долго: на лезвие, на зарубки, на кровь, которая почти высохла, но всё ещё виднелась в бороздах металла. Правая рука его тянулась к топору, пальцы разжимались, готовые сомкнуться на рукояти.

И вдруг он отдёрнул руку назад. Как будто обжёгся.

Яшка поднял глаза на Клокова, потом на меня. Страх из его взгляда ушёл. Осталась холодная, трезвая ясность, которая появляется у человека только после того, как он пережил самое страшное и понял цену своему нерву.

— Не возьму, — сказал он. Голос больше не дрожал.

— Почему? — спросил Клоков. Не злобно. Просто вопрос.

— Рука дрожала, когда я его взял в бою, — ответил Яшка. — Сам чувствовал. Ударил я его потому, что испужался. Убивать не хотел — вот в этом вся правда, кому хочешь скажу. Возьму сейчас топор — он у меня из рук пойдёт куда не надо. Руки у меня для него сейчас не те. Дайте мне ствол, когда научусь держать его спокойно. Тогда и возьму. А на сказать правду руки есть. На это хватит.

Тишина на плаце стала абсолютной. Даже сверчки замолчали. Свербеев, державшийся в стороне, опустил руки. Усмешка сошла с его лица. Он смотрел на этого подростка так, словно узнал его заново: по его лицу читалось, что строку из списка он теперь разглядывает как живого солдата.

Клоков помолчал секунду. Потом кивнул.

— Принято. Отнеси обратно каптенармусу. Запишем в журнал: отказ от трофея добровольный, мотивированный честью.

Яшка поднял топор обеими руками, бережно, как ребёнка, и ушёл к обозу. Строй проводил его взглядом. В этом взгляде презрение к новичку сменилось уважением к человеку, который выбрал принцип вместо вещи.

Вечер наступил незаметно. Солнце село за вал, длинные тени легли на землю. Лагерь ожил кухнями, дымом и гулом голосов. Но в шатре Клокова было тихо. Горела одна свеча. На столе, поверх карты, лежали четыре предмета.

Кушак с двойной синей круткой. Первый трофей хутора.

Дорожная синяя нить из оброненной соломы под межой, снятая с бересты Мокея.

Клок шерсти с терновника. Обрывок той же крутки, снятый мной у гряды.

И последний предмет — береста Оськи. Рисунок холстов на трубах, сделанный детской рукой.

Рядом с ними лежал маршрут ночного курьера, набросанный по слову сидельца: перегон от хуторских труб к башкирской дороге, где курьеров встречают. Линия проходила прямо через все эти точки.

Клоков стоял над столом, опираясь на него обеими руками. Он не сидел. Он нависал над уликами, как хищник над добычей. Я стоял напротив, правая рука в перевязи, левая свободна. Мы были одни. Адъютант вышел час назад, а Гнедин, как я знал, сидел в своей палатке и писал рапорт о «сдаче трофеев» — скрупулёзно заносил, что топор добровольно сдан рядовым каптенармусу, и, я готов был спорить, в каждой строчке сквозила обида на меня.

— Смотри, что у меня вышло, — сказал Клоков негромко.

Он не поднимал глаз от стола. Его палец скользил по линии маршрута, соединяя предметы.

— Крутка вяжется одной рукой. Узел завязан так, как вяжут возчики. Холсты висят на трубах, которые видны с этой тропы. Курьер ходит между ними по расписанию.

Он перевёл взгляд на меня. В глазах у него не было триумфа. Был холодный, тяжёлый интерес следователя, который вдруг понял, что дело гораздо крупнее, чем он думал.

— Утром я думал, что у меня доклад. Победный, правильный, нужный для архива. — Он провёл ладонью по столу, собирая предметы в кучу. — Это уже не доклад, Андрей.

Он назвал меня по имени. Без чина. Впервые вслух, без свидетелей, но так, что это звучало важнее любого приказа.

— Это след.

Я не ответил сразу. Пламя свечи колебалось, тени плясали на стенах. Внутри у меня всё переворачивалось. Мы победили в бою. Мы спасли колонну. Мы получили признание. Но эта куча тряпок и бересты говорила о том, что война только началась. Что враг уцелел и просто сменил тактику. Что сеть жива, и она знает о нас больше, чем мы о ней.

— Что дальше?

Глава 5

Клоков не отвечал сразу. Он взял кушак, повертел в пальцах узел — тугой, аккуратный, мещанский, — аккуратно положил обратно на то же место, уголок к уголку. Руки у него не суетились. Мне бы такие руки.

— Дальше будет охота. Не за мукой. Не за людьми. За головой, которая рисует карты и вяжет знаки. — Он поднял на меня глаза. — Сам-то что скажешь, капрал? Дело выросло, а имя ему дать должен ты.

— Дайте наряд, — сказал я прямо здесь, при свече. — Покажу, где их гасить. Мой ход, моя ставка: сам толкнул эту дверь, когда выложил улики на стол офицеров, и теперь мне через неё идти.

— Наряд твой, — сказал Клоков. — Завтра вечером выход. Маршрут по этому следу. Цель не убить всех подряд. Цель — взять живым того, кто ставит маяки. Того, кто читает эти узлы.

Он указал на бересту Оськи.

— Мальчонка нарисовал правильно. Трубы стоят не случайно. Они образуют коридор. Если перекрыть один узел, вся цепь дёрнется. Кто дёрнется — тот и хозяин.

Я взял кушак в левую руку. Ткань была влажной, холодной. Синяя нить вплетена грубо, но уверенно. Это подпись. Подпись человека, который считает себя умнее армии. Который играет в войну на своих условиях.

— Я пойду. Возьму Кузьму, Яшку и двух стрелков — Терентия и Долгих. Мокшана оставлю здесь, он нужен для воды.

Клоков молча подписал приказ. Перо шуршало по бумаге. Мне этот звук теперь слышался щелчком затвора фузеи.

— Иди спать, — приказал он. — Завтра тебе пригодятся силы. И правая рука, если она хоть немного одумается.

Я вышел из шатра. Ночь была плотная, звёздная. В воздухе пахло гарью и землёй. Я шёл к своей палатке, где спал наряд. Кузьма храпел тихо, ровно. Яшка лежал на спине, уставившись в потолок, и не спал. Он увидел меня и сел.

— Командир? — прошептал он.

— Спи, — ответил я. — Завтра будем ловить призраков.

— Призраков?

— Тех, кто оставляет следы там, где их быть не должно.

Я лёг, но сон не шёл. Перед глазами плыли синие нити. Белый холст. Расписание смены огней. Карта, которую кто-то рисует против нас. Мы выиграли битву за правду. Теперь начнём войну за знание. И цена будет выше пороха.

До того вечернего разговора у Клокова, когда береста Оськи легла на стол рядом с кушаком, нитью и клоком, был ещё целый день. После строя лагерь гудел, как растревоженный улей: полковые кухни варили баланду из казённой муки, по кострам ходили люди с мисками. Яшка сидел на корточках у каптенармусовой палатки; я видел его от своего костра, через весь двор. Перед ним лежал топор — снятый с тропы у костра за межой, с рукоятью, потемневшей от жира и крови, с лезвием, где ещё видны свежие зарубки. Парень глядел на него так, будто железо дышало ему в лицо. Оружие он сдал здесь же, сразу после строя, и с тех пор мучился. Глаза у него были красные, веки дёргались, но к своей палатке он не уходил. Он ждал. Ждал, как я понял по его позе, когда дневальный отвернётся или зазевается, чтобы подойти и взять своё «по праву боя». Я заключил это по тому, как он переминался

с ноги на ногу, перекладывая лом из руки в руку. Лом был тяжёлый, неудобный, а топор лежал рядом с самого утра, и каждый раз, когда Яшка проходил мимо, его пальцы тянулись к древку. Не забирал. Просто касался. Мне думалось, он проверял, дрожит ли рука сейчас, как дрожала тогда, у чёрного окна.

Лавруха стоял у входа в шатёр, скрестив руки. Он видел всё: как Яшка подходил к топору после строя, как касался его носком сапога, как отшатывался назад. Старый солдат не сказал ни слова. Только прищурился и отвёл глаза к огню. Это молчание было громче любого окрика. В нём не было презрения, только холодное ожидание: сломается мальчишка или нет? Счёт между ними жил, старый, как сама служба, но сегодня он стал тише. Лавруха не стал смеяться над страхом новичка. Он просто дал ему время разобраться со своим телом.

Яшка наконец решился. Он встал, подошёл ближе. Топор лежал на земле, блестя на дневном свету. Парень наклонился.

— Трогать можно? — спросил он хрипло. Лавруха не запретил.

Тогда Яшка взял топор обеими руками. Древко было тём-

ным и, на вид, шершавым. Он поднял его, сделал шаг назад, потом другой. И вдруг остановился. Тело его напряглось, плечи опустились. Он смотрел на лезвие, затем на свои руки. Кулаки сжались так, что костяшки побелели. Яшка открыл рот — оправдаться, что ли, или извиниться собрался; перед кем, спрашивается? Перед самим собой, что ли. Но вместо слов вышел тяжёлый выдох, только и всего. Он медленно положил топор обратно на землю. Не резко, не со злобой. Бережно. Пальцы разжимал по одному, давая древку лечь на землю, и лишь потом уходила рука. Как кладут спящего ребёнка. Потом развернулся и ушёл прочь, к своему месту у костра. Лавруха проводил его взглядом и коротко кивнул самому себе. Выбор был сделан без суда, без команды. Тело выбрало за душу.

После полудня того же дня всё изменилось. Клоков объявил учебный сбор у коновязи. Мы вышли на двор, где стояли два бревна для колки дров. Рядом мой лом и чужой топор. Кузьма Шумов держал в руках гладкую плаху, которую мы готовили для наказания за упущенную пулю. Сегодня она была нужна для другого.

— Ну-ка, сорванец, — сказал Кузьма, глядя на Яшку исподлобья. Голос у него был скрипучий, насмешливый, но без яда. — Ты утром топор не взял. Правильно сделал. Дрожащей рукой железо не держат. А вот посмотрим, что ты мо-

жешь. Бери лом. Я возьму топор. Разваливаем полено на скорость. Три попытки. Кто быстрее расправится с деревом — тот молодец. Проигравший моет мои сапоги до вечера.

Яшка побледнел. По лицу его я прочёл, что спор этот он проиграл заранее. Топор рубит дерево одним ударом, если попадёшь точно. Лом нужен, чтобы рвать волокна, толкать, выламывать. Это другая работа. Но спорить нельзя. Команда есть команда. Яшка схватил лом, поставил ногу поудобнее, занёс инструмент над торцом полена. Кузьма стоял напротив, тяжело дыша, но лицо у него было каменное.

— Начали! — скомандовал Кузьма.

Первая попытка. Яшка бил сверху вниз, целясь в трещину. Удар пришёлся вскользь, металл звенел о камень, полено лишь слегка надрывалось.

— Не спеши, — сказал Кузьма.

Руки парня дрожали, он торопился, хотел догнать Кузьму, который уже ловко, с размаху, вбивал лезвие топора в щель и одним движением вырывал кусок древесины. Яшка ругался сквозь зубы, заносил железо снова. Вторая попытка. Он бил сильнее, но неверно. Лом ушёл в сторону, полено кренилось, чуть не падало на ноги. Пот градом катился по лбу. Третья

попытка. Яшка почти кричал от усилия, впихивал острие в щель, давил всем весом корпуса. Полено раскалывалось, но медленно, мучительно, с треском волокон. Кузьма закончил первым. Легко, небрежно, будто ел яблоко.

— Медленно, — констатировал Кузьма, откладывая топор. Он не злорадствовал. Он смотрел на Яшку так, как кузнец смотрит на неотшлифованную деталь. — Злишься. Злость путает руки. Ты гнался за мной, а с поленом так и не работал. Поэтому и проиграл.

Яшка стоял, опустив голову. Плечи его тряслись — я прочёл в этой дрожи бессилие, страх ошибки, страх показаться слабым. Дрожь, которую я видел утром у топора, вернулась и читалась по его рукам. Он бросил лом на землю, собрался уйти, но я вмешался.

Не словами. Действием.

Я подошёл к лежащему лому. Поднял его левой рукой. Правая, в перевязи, бесполезно висела плетью. Яшке я не сказал ни слова: просто взял полено, которое он не смог расколоть чисто, и поставил перед собой. И сделал то, чему учился эти недели. Стойка. Я присел на левой ноге, колено чуть ниже бедра, корпус развернулся боком, вес перенёсся на заднюю ногу. Я работал рычагом, без удара сверху вниз,

как бьёт дровосек. Острие лома вошло в трещину. Давил я на него корпусом. Поворот бёдер, толчок пяткой в землю, инерция плеча. Хруст. Полено развалилось пополам. Чисто. Быстро. Без лишнего шума.

Я обернулся к Яшке. Он смотрел на меня расширенными глазами. На моё движение. На мою руку. На то, как я держу инструмент.

— Хватайся вот здесь, за свободный конец, — сказал я тихо, но так, чтобы слышал весь наш круг. Кузьма тоже слушал, стоя чуть в стороне. — Острие — в трещину. Край древесины тебе вместо рук: упрёшься в него, и он держит лом за тебя. А дальше не бей. Не плечом, не руками — повернись корпусом, налеги на длинное плечо, и дерево само раскроется. Не нужно силы. Нужна точка опоры. И ритм.

Я протянул ему лом.

— Пробуй. Не торопись. Почувствуй, где центр тяжести. Где инструмент сам хочет упасть.

Яшка взял его за верхнюю, свободную часть. Его пальцы скользили по железу, находили хват. Он посмотрел на меня — на то, как я стою боком, — и, кажется, понял. Вставил острие в трещину, упёр его в край древесины. Поставил но-

гу. Присел глубже, чем надо бы, — я рот открыл, чтобы поправить, да сдержался и отошёл на шаг в сторону: пусть своим телом найдёт. Корпус развернулся. Он не бил изо всех сил. Он повернулся всем телом, навалился на длинное плечо, позволил инерции сделать работу. Хруст. Полено разошлось ровно по линии трещины. Лучше, чем в прошлый раз. Меньше усилия. Больше контроля.

Яшка выпрямился. Вытер лоб рукавом. Посмотрел на меня прямо, в лицо, взгляд уже не бегал, прятаться не пытался — в нём не было того животного ужаса, читалась ясность. Понимание механики своего тела.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.